
МИЛА СЕВЕРИНА
Первый Солнцеворот
Праздничная повесть
из мира «Лекарки с того света»

Мила Северина

Первый Солнцеворот

«Автор»
2026

Северина М.

Первый Солнцеворот / М. Северина — «Автор», 2026

Двенадцать лет я не боялась ни крови, ни смерти, ни главврача. А в утро Солнцеворота не могу встать с постели, потому что за окном метель — та самая, в которую когда-то не доехала скорая к моей маме.Я Анна, хирург из другого мира, жена генерала-дракона в северной крепости. Сегодня праздник: медовик по маминому рецепту, родовое серебро на столе и вечерние обеты, на которых мне придётся сказать при всех, кто я на самом деле.Только серебро пропало. Муж с вечера прячет за сундуком подарок и никак не решится его подарить. А внизу, в городке под горой, рожает кузнецова дочь, повитухи за рекой, и дорогу замело.Драконы не летают в метель. Но над метелью, говорит он, тихо.Праздничная повесть во вселенной «Лекарки с того света». Можно читать отдельно. Попаданка. Генерал-дракон. Истинная пара. Медицина без магии. ХЭ.

© Северина М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Метель 5
Глава 2. Кухня Тильды 9
Конец ознакомительного фрагмента. 14

Мила Северина
Первый Солнцеворот

Глава 1. Метель

Двенадцать лет я не боялась ни крови, ни смерти, ни главврача. А в утро Солнцеворота лежала под тремя одеялами и не могла встать с постели, потому что за окном выл ветер.

Не просто выл. Пел. На разные голоса. Низко, в трубе камина, — как будто кто-то большой и простуженный жаловался на жизнь. Высоко, в щели ставен, — тонко, со свистом, как чайник, про который все забыли. И ещё где-то посередине, без слов, ровно и бесконечно, — так гудит пустой коридор больницы в три часа ночи, когда ты идёшь по нему одна.

Ставни тряслись. В стекло било снегом. За стеклом было бело. Не утро, не ночь — просто бело. Мир кончился и забыл сказать.

Метель.

Я лежала, смотрела в потолок и считала удары собственного сердца. Девяносто шесть. Девяносто восемь. Сто два. Тахикардия. Хирург во мне спокойно поставил диагноз, записал в карту и пошёл пить кофе. Которого здесь нет.

Остальная я лежала под одеялом и не могла пошевелиться.

* * *

Я должна, наверное, объяснить.

Меня зовут Анна. Анна Сергеевна Соколова. Я хирург. Была хирургом. Двенадцать лет в областной больнице, ночные дежурства, ножевые, аппендициты, кишечная непроходимость в два часа ночи и главврач, который считал, что хирург должен спать раз в неделю, по воскресеньям, и то если повезёт.

Мне не повезло. Я умерла.

Так бывает. Аневризма, после двадцати шести часов на ногах, в ординаторской, на диване с продавленной подушкой. Вспышка боли в затылке — и темнота.

А потом я открыла глаза здесь.

Здесь — это Арвейн. Королевство, где нет электричества, антибиотиков и горячей воды из крана, зато есть драконы. Настоящие. Один из них сейчас спал рядом со мной — поверх одеяла, одетый, отвернувшись к стене. Пришёл в полночь, когда за окном завыло: он слышит меня через метку раньше, чем я сама себя. Лёг, не раздеваясь, сказал: «Спи» — и уснул первым. Его широкая спина в полотняной рубахе поднималась и опускалась ровно и спокойно. Ему метель была нипочём. Ему вообще всё было нипочём. Драконам не бывает холодно.

Я очнулась в теле его жены. Девушки, которую звали Арианна. Её больше нет — и не по своей воле, но это я узнала не сразу. Есть я. Это долгая история, и не самая весёлая, и случилась она этой осенью, а теперь уже зима, и многое с тех пор поменялось. Например, то, что я больше не «ненужная жена». Например, то, что у меня на запястьях серебряный узор — тонкий, как вышивка, из маленьких чешуек. Здесь его называют меткой истинности. Он появляется, когда дракон и та, которая ему по-настоящему пара, выбирают друг друга. Говорят, его не было двести лет.

Теперь есть.

Я лежала, смотрела на свои запястья поверх одеяла и думала, что женщине, у которой есть дракон и метка истинности, стыдно бояться ветра.

Стыдно. Да.

А я боялась.

* * *

Мне было девять.

Сосновка — посёлок в лесу, сто двадцать километров до города. Мама — фельдшер. Единственный медик на шесть деревень. К ней ходили со всем: с порезами, с давлением, с роженицами, с пьяными мужиками, которые порубились топором. Она знала всё. Я думала, она знает всё.

А в ту зиму, в метель, у неё заболел живот.

Она терпела два дня. Пила что-то из своей аптечки. Говорила: «Ничего, Анечка, пройдёт». Медики — худшие пациенты. Я это потом узнала, в институте. Тогда — не знала.

На третий день она уже не вставала. Лежала белая, вся в поту, поджав колени. Сама себе поставила диагноз — она всегда знала всё — и сказала: срочно, в больницу. Соседка, тётя Валя, вызвала скорую. По телефону в сельсовете, единственному на всю Сосновку.

А метель к вечеру не кончилась. Встала. Стеной. С ветром, с воем, с белой тьмой за окном. Как сейчас.

Скорая выехала. Мы знали, что выехала: тётя Валя бегала звонить ещё раз. Выехала из города, сто двадцать километров. И застряла на сорок шестом. В снегу. В метели. Встала. Ни туда, ни сюда.

Трактор нашёл её к утру.

К утру было поздно. Перитонит. Я теперь знаю, как это. Я сама потом оперировала такие. Если бы вовремя — ничего особенного. Час работы, неделя в палате. Если вовремя.

Я сидела с ней всю ночь. Кровать стояла у самого окна. Мама держала меня за руку и говорила: «Анечка, всё хорошо, сейчас приедут». Тётя Валя меняла ей мокрое полотенце на лбу. А я смотрела в окно. На дорогу. Ждала фары. Две жёлтые точки в белой тьме.

Фар не было.

Утром приехал трактор. С фарами. Только было уже не нужно.

С тех пор я не люблю метель.

Это мягко сказано. Я её ненавижу. Я её боюсь. В городе, в своей квартире на девятом этаже, я в метель закрывала шторы, включала весь свет и телевизор погромче и сидела на кухне с котом, пока не кончится. Кот, рыжий, толстый, по имени Бублик, был не против. Он вообще был не против всего, что включало кухню.

А здесь нет телевизора. И шторы — тяжёлые, бархатные — не закрывают воя.

И кота нет.

Я вдруг поняла это. Бублик — здешний Бублик, огромный серый кот крепости, которого все зовут Бароном, а я Бубликом, — каждую ночь спал у меня в ногах. Тяжело, как мешок с песком. С самой осени. А сегодня — не пришёл.

Ноги были холодные.

* * *

Рейнар проснулся.

Я не слышала, как. Просто его дыхание вдруг стало другим. Не сонным. Он лежал неподвижно, но я знала, что он не спит. Слушает.

Метель выла.

Он повернулся. Посмотрел на меня. Глаза у него были ещё сонные, тёмные, с тусклыми золотыми искрами на дне. Посмотрел на моё лицо. На руки поверх одеяла — я, оказывается, вцепилась пальцами в край одеяла так, что побелели костяшки. На окно.

Ничего не сказал.

Встал. Босиком, по каменному полу — ему не холодно, — пошёл к двери. Вышел.

Я лежала и смотрела на закрытую дверь.

Сто восемь. Сто десять.

Он вернулся. Не скоро — я успела насчитать много. С глиняной кружкой в одной руке и с тяжёлым меховым одеялом под мышкой. От кружки шёл пар.

Он накрыл меня одеялом. Поверх трёх моих. Стало тяжело и тепло. Сунул мне в руки кружку. Сбитень. Горячий, медовый, с гвоздикой. Тильдин. Пальцы обожгло, и это было хорошо.

А потом сел на край кровати.

Спиной к окну.

Он сел так, что окно оказалось за его спиной. Широкой, тяжёлой, в белой рубахе. И закрыл его. Совсем. Мне больше не было видно ни снега, ни белой тьмы. Только его плечи. И его лицо.

Он сидел и молчал.

Я пила сбитень и тоже молчала.

Метель выла. Но теперь — за ним. Где-то там, позади, далеко. Как будто между мной и метелью кто-то встал и сказал: «Нет. Сюда нельзя».

* * *

— Ты знаешь, — сказала я наконец.

— Знаю, — сказал Рейнар.

Конечно, знает. Я рассказала ему. Тоже зимой, тоже в метель, в южной башне, где лежали больные, когда крепость замело на трое суток. Мы сидели на скамье, и я рассказала ему про Сосновку. Про маму. Про скорую. Про окно и фары. А он рассказал мне про своего отца, который полетел за целителем через перевал в метель и опоздал.

Мы оба знаем, что такое опоздать в метель.

— Сто десять, — сказала я.

— Что?

— Пульс. Сто десять ударов. У меня. Это много. Это значит, что я боюсь. Хирург не должен так бояться.

— Ты не хирург, — сказал Рейнар. — Ты в постели.

Я засмеялась. Нервно, коротко, в кружку.

— Это у вас драконья логика?

— Это у меня логика генерала, — сказал он. — В бою боятся все. Кто не боится, тот дурак, и его убивают первым. Важно не это.

— А что?

— Встаёшь ты или нет.

Я посмотрела на него. Он смотрел на меня спокойно. Без жалости. Без снисхождения. Просто смотрел. Как смотрел на своих солдат, наверное, перед боем.

— Я встану, — сказала я. — Сейчас. Минуту. Допью.

— Допивай, — сказал он. — Я подожду.

И не сдвинулся. Так и сидел спиной к окну, закрывая его собой.

* * *

Рейнар

Зверь не спал с полуночи.

Он чуял её страх. Не так, как чуют страх врагов в бою — кислый, острый, звериный. Её страх был другой. Тихий, старый. Как запах сырости в погребе, где давно никто не жил. Он сочился из неё вместе с дыханием, вместе с ударами её сердца, которые Рейнар слышал через метку на запястье. Частые, мелкие, как шаги ребёнка, который бежит по снегу и не может добежать.

Зверю это не нравилось.

Зверь хотел вылететь в метель и сжечь её. Всю. До последней снежинки. Чтобы она больше не пугала ту, которую он выбрал. Рейнар держал его. Изнутри. Мягко.

Нельзя сжечь метель. Можно только сесть к ней спиной.

Он сидел и слушал, как она пьёт сбитень. Как постепенно, удар за ударом, её сердце замедляется. Ребёнок на снегу перестал бежать. Пошёл шагом.

Хорошо.

А ещё Рейнар думал о сундуке у камина.

Там, за сундуком, в щели между резной стенкой и стеной, лежал свёрток. Кожаный, тяжёлый, перевязанный бечёвкой. Борг принёс его вчера вечером. Ковал три недели, по ночам, по рисункам, которые Рейнар украл у неё со стола в аптечной. Она их рисовала углём на обороте старых счетов. Ножи, зажимы, иглы. Странные, тонкие, не похожие ни на что, что ковали в Хальварде до неё.

Он хотел отдать его утром.

А ночью пришла метель.

Он посмотрел на сундук. Краешек свёртка торчал из щели. Совсем чуть-чуть. Кожаный, светлый. Рейнар поморщился. Он же засунул его глубже. Вчера. Точно засунул.

Он встал. Невзначай. Прошёл к камину. Поворошил угли, которые не надо было ворошить. И ногой, тоже невзначай, задвинул свёрток поглубже.

Обернулся.

Она смотрела на него поверх кружки. Внимательно. Очень внимательно.

— Угли, — сказал он.

— Угли, — согласилась она.

И уголок рта у неё дрогнул. Впервые за всё утро.

Зверь внутри Рейнара довольно вздохнул.

* * *

Анна

Я допила сбитень. Поставила кружку на столик.

Посмотрела на окно. Рейнар уже не сидел перед ним. Он стоял у камина и делал вид, что очень занят углями, а за его спиной из щели между сундуком и стеной снова торчал светлый краешек чего-то кожаного. Он, кажется, задвинул его ногой. И, кажется, задвинул не туда.

Генерал Северной армии. Лорд Северной марки. Чёрный дракон, которого боится половина королевства. Не умеет прятать подарки.

Я решила, что не видела.

Метель за окном выла. Но уже не так громко. Или мне так казалось.

Сто два. Девяносто восемь.

Я откинула одеяла. Все четыре. Холод ударил по ногам, по плечам. Я спустила ноги на пол. Каменный, ледяной.

И тут в дверь заколотили.

Не постучали — заколотили. Кулаками. Обоими. Так колотят, когда пожар или когда рожают.

— Миледи! — Это была Лиси, моя горничная, которая за эту осень стала моей первой сестрой милосердия. Голос у неё срывался, она, видно, бежала по лестнице. — Миледи, вы проснулись? Миледи!

— Проснулась, Лиси. Что случилось?

Пауза. Лиси за дверью переводила дух.

— Тильда сказала, — выпалила она, — что если вы сейчас же не спуститесь на кухню, то каравая не будет. Совсем. Она так и сказала. «Скажи миледи: не спустится — не будет солнца. Пусть потом сама его возвращает».

Глава 2. Кухня Тильды

На кухне Хальварда было жарко, как в операционной, где сломался кондиционер, и пахло так, что у меня подкосились ноги.

Хлеб. Тёплый, живой, дрожжевой. Мёд. Корица — откуда здесь корица? Морвены привозили, сказала потом Тильда, до войны, а у неё запас. Топлёное масло. Печёные яблоки. И ещё что-то, сладкое, густое, тёмное, как карамель, которую мама варила на Новый год в маленьком ковшике с отбитой эмалью.

Я остановилась на пороге и просто дышала.

Метель за окнами кухни выла так же, как наверху. Но здесь её почти не было слышно. Здесь гудела печь. Шипело масло. Стучали ножи. Две Тильдины девки, красные, распаренные, рубили что-то на столе у окна. Маленький Ян сидел на лавке у стены, болтал ногами в огромных валенках и не сводил глаз с чего-то на столе.

А посреди кухни, как гора посреди равнины, стояла Тильда.

Огромная. В белом переднике до пола. С руками по локоть в тесте. Она месила его на столе, на широкой дубовой доске, мерно, тяжело, всем телом, и стол под ней скрипел.

— Пришла, — сказала она, не поднимая головы. — Ну наконец. Я уж думала, без солнца останемся.

— Доброе утро, Тильда.

— Доброе, — сказала Тильда. — Было бы доброе — не мело бы. Руки мойте.

* * *

Я вымыла руки. В тазу у двери, щёлоком. Тильда смотрела через плечо, как я мою, — долго, придирчиво, как я сама смотрю на студентов.

— Новое солнце, — сказала она, — не любит грязных рук.

— Это вы где слышали?

— У вас, — сказала Тильда. — Вы с осени твердите. Я и подумала: раз миледи говорит, что болезни от грязных рук, то солнце, небось, тоже не дурак.

Я засмеялась. Впервые за утро — по-настоящему.

Тильда хмыкнула. Довольно.

Она была первая. Первая в этой крепости, кто осенью посмотрел на меня не как на пустое место. Первая, кто накормил меня, когда все остальные отворачивались. Огромная, ворчливая, вдова без детей, кухарка Хальварда, которая кормила этот замок, наверное, лет тридцать. Три дня назад у неё появился сын. Маленький Ян, круглый, с серьёзными глазами, сирота, которого привезли из Лирны. Она взяла его на руки во дворе, в снегу, и сказала: «Мой будет». И теперь он сидел у неё на кухне на лавке и сторожил что-то на столе с видом стражника у королевской казны.

— Что он сторожит? — спросила я шёпотом.

— Орех, — сказала Тильда.

* * *

Это был обычай. Тильда рассказывала, пока месила. Я слушала и делала, что она велела: просеивала муку через сито, растирала масло, била яйца в глиняной миске. Руки помнили. Руки хирурга помнят всё, что когда-то делали правильно. А пироги с мамой я пекла правильно. Мама за неправильные пироги выгоняла из кухни.

На Солнцеворот пекут солнце.

Круглый каравай. Большой, пышный, из лучшей муки, с маслом и мёдом. А сверху из того же теста выкладывают солнце: круг посередине и лучи во все стороны, витые, как верёвочки. Мажут яйцом, чтобы блестело. И запекают внутрь один лесной орех.

— Кому орех достанется, — сказала Тильда, — тому весной первая удача. Первое что-нибудь. Первый телёнок. Первая рыба. Первый жених.

Она покосилась на девок у окна. Девки захихикали.

— А Ян?

— Ян сторожит, — сказала Тильда. — Чтобы орех никто не украл, пока я его не запекла. Сказала ему: важное дело. Мужское.

Ян услышал. Выпрямился на лавке. Посмотрел на орех. На меня. Снова на орех.

— Я сторожу, — сообщил он мне. Серьёзно.

— Вижу, — сказала я. — Хорошо сторожишь.

— Хорошо, — согласился Ян. И снова уставился на орех.

Орех лежал на краю стола, на чистой тряпице. Обычный лесной орех. Коричневый, гладкий. Ян смотрел на него так, будто тот мог убежать.

* * *

Очаг на кухне стоял холодный. Чёрный, пустой, только хлебная печь гудела. Я спросила почему.

— Старый огонь гасят, — сказала Тильда. — Накануне, на закате. А хлебную печь — нет. Хлеб для Солнцеворота пекут на старом огне, на огне уходящего года. А новый огонь зажигают ночью, в драконьем зале, в каменной чаше, — и уносят оттуда домой. В фонарях, в горшках с углями, кто как. И от него разжигают очаг. И он горит потом весь год.

— А если погаснет?

— Не погаснет, — сказала Тильда. — Не дадим.

На полу была мука, скорлупа, капли масла. Я потянулась к метле у печки. Тильда выдернула её у меня из рук так, будто я потянулась к ножу.

— Не метут! — сказала она. — На Солнцеворот — весь день. Выметешь сор — выметешь удачу.

И унесла метлу в чулан. Я посмотрела на пол и подумала, что к вечеру тут будет весело.

— А ещё серебро достают, — сказала Тильда с уважением. — Родовое. Хальвардово. Раз в год. Гримсон его в кладовой держит, под замком, в сундуке. А ключ на шее носит. Даже спит с ним. Двести лет, говорят, это серебро на Солнцеворот на стол ставят. Ложки. Кубки. И чашу.

— Чашу?

— Солнечную, — сказала Тильда. — Большую, с драконом на крышке. В неё вечером из каменной чаши огонь берут. Милорд сам зажигает. Раньше — старый лорд зажигал. А ещё раньше — его отец.

Она помолчала. Перестала месить.

— Двадцать лет не носили, — сказала она. — Как миледи, матушка милорда, померла. Не до того было. А в этом году — понесут. — Она вздохнула. — А потом обеты. Милорд с вами при всех, в зале, перед Пламенем. Обет громко говорите, миледи. Жрец глуховат.

Она посмотрела на меня. И снова взялась за тесто.

Я уткнулась в свою миску с яйцами.

Обет. Громко. С именем.

Недавно Зерцало показало два отражения при всей крепости. Крепость промолчала. Но одно дело — промолчать. Другое — услышать вслух, перед Пламенем, при жреце, который всё записывает в храмовую книгу. Таких, как я, здесь называют подменышами. И таких, как я, увозят на Серый остров.

Я разбила яйцо. Мимо миски.

* * *

— А вы что такое делаете? — спросила Тильда минут через десять.

Не сразу. Она долго косилась на мою миску, на мою муку, на мой мёд, который я растапливала в маленьком горшке на краю печи. Косилась и молчала. А теперь не выдержала.

— Пирог, — сказала я.

— Это я вижу, что пирог. Какой?

— Наш, — сказала я. — Оттуда. Где я… раньше жила. Мама пекла на большой праздник. Медовик называется.

Тильда отряхнула руки от теста. Подошла. Посмотрела в миску. Понюхала горшок с мёдом.

— Медовик, — повторила она. — Это что же. Хлеб с мёдом?

— Не хлеб. Коржи. Тонкие. Много. Восемь, может, десять. Каждый печётся отдельно. Потом их перемазывают кремом. Сметаной со сладким. И оставляют на ночь, чтобы пропитались.

Тильда смотрела на меня, как на сумасшедшую.

— Десять? — спросила она.

— Десять.

— Каждый отдельно?

— Каждый.

— И каждый мажут?

— Каждый.

— Это что же за пирог, — сказала Тильда, — который сто раз мажут?

Девки у окна захихикали. Ян на лавке тоже захихикал, хотя ничего не понял.

— Вкусный, — сказала я.

Тильда долго молчала. Потом взяла с полки глиняный горшок. Поставила передо мной. Сняла крышку.

Сметана. Густая, жёлтая, деревенская, такая, что ложка стоит. Я такой не видела лет двадцать. С тех пор как в Сосновке у тёти Вали была корова.

— Ладно, — сказала Тильда. — Пеките свой медовик. Только сметану мою не испортьте. Это лучшая сметана на Севере. Её Агафья из Брода носит. От бурёнки, которая трясовицу пережила.

Я засмеялась. Тильда — нет. Тильда говорила серьёзно.

* * *

Мы пекли.

Тильда — каравай. Я — коржи. Тонкие, как лист бумаги, на противне, на поду хлебной печи. Тильда показала, куда ставить, чтобы не пригорели. Подсказала, сколько держать. Сначала ворчала. Потом смотрела. Потом сама сняла первый корж с противня деревянной лопатой, понюхала, отломила краешек, сунула в рот.

Пожевала. Помолчала.

— Хм, — сказала она.

У Тильды «хм» — это высшая похвала. Выше бывает только молчание.

Я пекла и не думала о метели. Почти. Руки были заняты. Голова была занята: сколько держать, когда снимать, тоньше раскатывать, ровнее. Как на операции. Когда работаешь, некогда бояться. Страх приходит потом, когда моешь руки.

Только иногда, когда я снимала очередной корж и выпрямлялась, мой взгляд сам собой уходил к окну.

К белому окну. За которым выло.

И каждый раз сердце делало лишний удар.

* * *

Тильда это заметила. Конечно. Тильда замечает всё, что происходит на её кухне. И в крепости. И, кажется, в Броде.

Она поставила каравай в печь. Закрыла заслонку. Вытерла руки о передник. Подошла ко мне. Встала рядом. Огромная, тёплая, пахнущая хлебом.

— Метели боитесь, — сказала она. Не спросила.

Я не ответила.

— Милорд сказал, — пояснила Тильда. — Утром. Пришёл за сбитнем ни свет ни заря. Босиком. Я говорю — милорд, да вы что, пол ледяной. А он говорит: Тильда, сбитня. Горячего. Для миледи. Она метели боится. — Тильда помолчала. — Я тридцать лет в этой крепости. Он никогда ни для кого сбитня не просил. Даже для себя. Сам брал.

Я смотрела на свои руки. В муке.

— Я тоже метель не люблю, — сказала Тильда.

— Вы?

— А что? — Тильда пожала огромными плечами. — Я баба. Мне можно. Мой покойник, конюх, Пламя ему светлое, в метель в конюшню ходил, к лошадям. Каждую ночь. Я сидела и не спала, пока не вернётся. Думала: заметёт, не найдёт дорогу, замёрзнет у порога. Двадцать зим так.

— И?

— И ничего, — сказала Тильда. — Ни разу не замело. А помер от лихорадки. Летом. На печи. — Она посмотрела в окно. На белое. — Метель, миледи, — она дура. Воет, пугает, а толку от неё — снег. Её не бояться надо. Её надо печку топить. И пироги печь. И чтоб кто-нибудь рядом был, кто тоже не спит.

Она взяла с противня мой корж. Самый подгоревший, с чёрным краем. Отломила горелое. Съела.

— И коржи свои, — добавила она, — тоньше катайте. Толстые.

* * *

Тимоти пришёл на кухню, когда я снимала шестой корж.

Лиси привела его. Укутанного в два шарфа, в валенках, с красным носом. Он постоял в дверях, посмотрел на печь, на Тильду, на меня в муке до локтей. И глаза у него стали круглые.

— Ари, — сказал он. — Ты печёшь?

— Пеку.

— Ты раньше не пекла.

Я замерла с лопатой в руках. На миг. Он сказал это просто, без подозрения. Как говорят «ты раньше не носила синее». Ему десять. Он помнит сестру, которая сидела в гостиной в Лирне с вышиванием и не смела зайти на кухню, потому что мачеха говорила: леди на кухню не ходят.

— Раньше не пекла, — сказала я. — А теперь пеку. Хочешь научиться?

— Матушка говорила, мальчикам нельзя на кухню.

— Матушки здесь нет, — сказала Тильда, не оборачиваясь. — Здесь я. Мой руки.

Тимоти посмотрел на Тильду. На меня. На Яна, который сидел на лавке и сторожил орех. Подошёл к тазу. Вымыл руки. Щёлоком. Долго, старательно, как я учила, между пальцами и до запястий. Потом показал мне ладони.

— Хорошо, — сказала я.

Я дала ему ложку. Показала, как мазать сметану на остывший корж. Тонко. Ровно. От середины к краям. Он мазал, высунув кончик языка, и сметана ложилась неровно, комками, и он хмурился и разглаживал, и снова разглаживал.

— Ари, — сказал он, не поднимая головы. — А это правда ваш пирог? Тильда говорит, это пирог издалека.

— Правда.

— А там тоже Солнцеворот?

Я подумала.

— Там Новый год, — сказала я. — Почти в эти же дни. Ставят в доме ёлку, украшают игрушками. Дарят подарки. И пекут вот такой пирог. Моя… — Я запнулась. — Одна женщина, которая меня очень любила, пекла его каждый год. И я ей помогала. Как ты сейчас.

Тимоти посмотрел на меня. Серыми глазами. Глазами Арианны.

— А она где?

— Далеко, — сказала я. — Очень далеко.

Он кивнул. Как будто понял. Может, и понял. Дети иногда понимают больше, чем мы им говорим.

— Тогда я буду помогать, — сказал он. — Каждый год. Ладно?

— Ладно, — сказала я. И полезла в печь. Потому что там как раз дымился седьмой корж.

* * *

Каравай удался.

Он вышел из печи огромный, золотой, пышный, и солнце на нём сверкало от яйца, и лучи были витые, как верёвочки, и пахло так, что Ян слез с лавки и подошёл к самому столу.

— Орех там? — спросил он.

— Там, — сказала Тильда.

— А ты его запекла, а я сторожил. Значит, мне достанется?

— Это как Пламя решит, — сказала Тильда.

Ян подумал над этим. Серьёзно, наморщив лоб.

— Я Пламени скажу, — решил он. — Что я сторожил.

Тильда отвернулась к печи. Очень быстро. И долго ворошила угли кочергой, хотя ворошить было нечего.

Я сделала вид, что ничего не заметила. И стала резать коржи по кругу, по тарелке, ровно, как скальпелем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.